

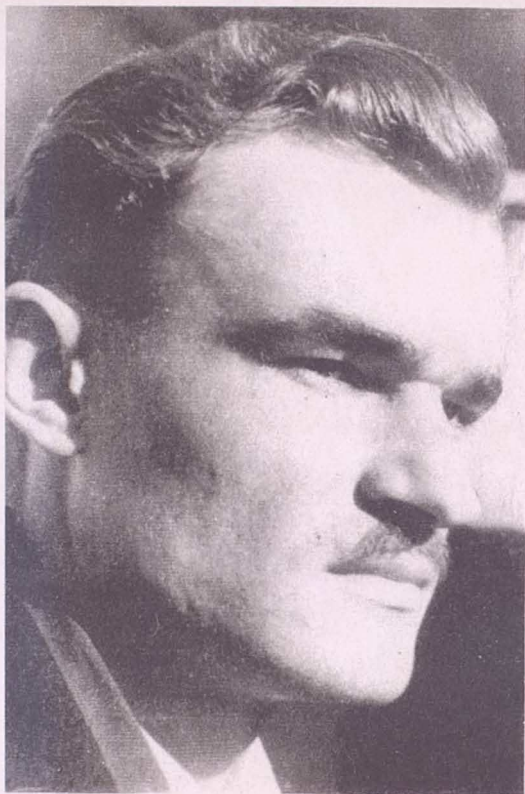
ИВАН ЩЕГОЛИХИН

Л 2007

104 к



Не жалею,
не зову,
не плачу...



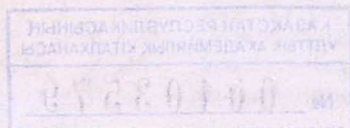
ИВАН ЩЕГОЛИХИН

1

ТОМ



Не жалею,
не зову,
не плачу...



III
00(05)-06
1702010201

РИИЦ Азия
Алматы — 2006

КНИГА ВЫПУЩЕНА ПО ЗАКАЗУ КОМИТЕТА ИНФОРМАЦИИ И АРХИВА
МИНИСТЕРСТВОМ КУЛЬТУРЫ И ИНФОРМАЦИИ РК

ББК 84Р7-44

Щ 32

Щ 32 Щеголихин И.

Избранное в двух томах.

Том первый. "Не жалею, не зову, не плачу..." Роман, Алматы, РИИЦ "Азия", 2006. — 320 с.

ISBN 9965-9341-5-0

Роман автобиографический, от первого лица. О времени, о жизни, о себе. О советской действительности. О детстве, об Отечественной войне, о юности и первой любви. О лагере в Сибири в начале 50-х...

Для творческой манеры автора характерны острый сюжет, захватывающая интрига, драматизм повествования.

Автор известный писатель и общественный деятель. Родился в Казахстане в 1927 г., по образованию врач. Издал 7 романов, 23 повести. Перевел на русский около 20 произведений казахских писателей, в их числе Мухтар Ауэзов, Сакен Сейфуллин, Сабит Муканов, Габиден Мустафин, Сафуан Шаймерденов, Ади Шарипов, Малик Габдуллин, Бердибек Сокпакбаев и др.

Живет в Алматы.

ББК 84Р7-44

Щ $\frac{4702010201}{00(05)-06}$

ISBN 9965-9341-5-0 - (Т.1)

ISBN 9965-9341-4-2

© Щеголихин И., 2006

© «РИИЦ Азия», 2006

Кто не был, тот будет

1

Если верно, что под каждой могильной плитой лежит вся человеческая история, то, значит, и под моей — тоже. У китайца история китайская, у японца японская, у русского иудейская. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова; Маркс родил Ленина, Ленин родил Сталина, Сталин родил Гулаг, Гулаг родил Сашу-конвоира. и вот мы с хирургом Пульниковым тащим его, в дупель пьяного, зимней ночью в сторону лагеря, а Саша куражится, упирается, "Цыганку с картами" поет, а мы его тащим, и только вблизи световой зоны Саша очухался, встал столбом и внятно выговорил: "А где пистолет?"

Мы с хирургом ринулись проверять на его ремне легкую и пустую кобуру, Пульников даже варежку снял, будто предстояло найти иголку.

Нас выводили из лагеря в Ольгин лог сделать операцию жене какого-то начальника. Закончили, и медсестра Катя уговорила нашего архангела заглянуть к ней на огонек, совсем рядом, пять минут ходу. Лагерь и для надзора не сахар, Саше тоже сачкануть хочется, он уже принял мензурочку в процедурной. Год назад Катю мы с Пульниковым спасли от смерти. Муж её привез прямо в лагерь на самосвале уже без пульса — внематочная беременность. Из операционной я вынес её на руках, как невесту из загса, каталки не было, а куда её положить, молоденькую, хорошенькую, если кругом зека алчные, не посмотрят, что мы ей только сейчас живот распарывали. Пришлось в ординаторской поставить койку, и я возле неё дежурил.

Пять минут ходу, сказала Катя, но топали километра два из Ольгина лога до поселка БОФа, большой обогатительной фабрики. Мороз если не сорок, то тридцать наверняка, хорошо ещё, ветра нет. Зашли в темный барак. Комнатка метров десять, железная койка, кровать для малыша, стол с облезлой клеенкой. Катин

муж сразу завел патефон, поставил нам "Рио-Риту" и рванул за самогоном. А я жадно смотрю на комнату из той жизни, на этажерку с книгами, на живого ребёнка, маленького Катиного пацанёнка. Семья, тепло, уют, всё это у меня было совсем недавно, в Алма-Ате, — этажерка с учебниками, тетради с лекциями, студенчество мое вольное. Катин муж вернулся с бутылкой, на плите забулькала вода, запахло пельменями. Мы выпили по одной, по второй, перевернули "Рио-Риту", а там "Брызги шампанского", танго моей юности нескончаемой, прошлое так и пакатило волной, жить бы вот так и жить — пусть в лагере, но с мгновениями просвета и взлета. Саша-конвоир после второй потребовал остановить патефон и сам запел: "Новый год, порядки новые, колючей проволокой наш лагерь обнесён". — "Наш! — закричал ему Пульников. — Не ваш!" — "Вы не подеритесь, — сказала Катя. — Нашли что делить".

"Лилось шампанское струй-ёй лил-ловою" — продолжал Саша на мотив танго, хотя полагалось бы ему петь не нашу лагерную, а свою, армейскую: "С песнею, борясь и побеждая, наш народ за Сталиным идет".

Я поманил мальчика, он подошел близко и поднял локти, дескать, возьми меня. Я его усадил на колени, глазам стало жарко. "Дя-а-дя Женя, — врасстяжку сказала Катя. — Так детей любят, у кого жизнь тяжелая". — "А у него лёгкая! Ах-ха-ха-ха!" — закатился Пульников. У меня голова закружилась, я не видел живых детей полтора года, больше пятисот дней — ни одного. Будто в мире их совсем нет, вымерли.

Сидим, пьем, едим, но пора и честь знать. Пожелали хозяевам семейного счастья, они нам скорой свободы, вышли, и сразу мороз по сусалам, слезу вышиб. До лагеря минут тридцать-сорок, видим, зарево под горой, сто сорок солнц на столбах зоны. Мороз трещит, лупит кого-то, где-то, а нам тепло, нам хорошо и даже замечательно. Миновали бараки БОФа, и ближе стало дымное морозное облако, прожектора и ряды строений, ну прямо как родная Алма-Ата, — там горы и здесь горы, там ели тянь-шанские и альпийские луга, и здесь тоже ёлки-палки на вершинах сопок. Шуганули меня на эту землю обетованную, за тысячи мерзлых вёрст, но всё так похоже на ту землю и на ту волю, что кричать хочется, и я кричу: "Ты горишь под высокой горою, разгоняя зловещую тьму, я примчуся ночью порою и ворота твои обниму".

Пульников хохочет, — нашел что обнимать, а Саша поёт, выводит с придыхом: "Цыга-ныка сы-ка-ры-та-ми да-ха-ро-га даль-най-йя". Всё ближе дымят трубы наших барачков. Там уже отбой прогремел по рельсе, но покоя нет, живое кишмя кишит в жилище нашем дымном, в стойбище нашем многолюдном по адресу: Крас-

ноярский край, Хакасская автономная область, рудник Сора, почтовый ящик 10. Город наш выворотень, за оградой непроходимой, неодолимой. Если прежде возводили стены от врага внешнего, то тут наоборот: мир снаружи, а враги внутри. У нас там всё переименовано, в нашей крепости. Смешно сказать, но самый спокойный уголок — больница, да пожалуй, вторая колонна, где бандеровцы, владимировцы и вся 58-я. У них там всегда порядок. В морге тоже спокойно, сегодня ни одного трупа, и собрались там втихаря баптисты, и поют прекрасный псалом: "Охрани меня, о Матерь всеиспечения, крыльями твоей молитвы сладостной, обрати мои стенания в песнопения, дни печали — в праздник радостный". В клубе КВЧ не спят музыканты, чифируют, готовят программу к Новому году. В самом дальнем бараке, кильдимае стирогоны шпилят в карты, и завтра утром в санчасть по белому снегу пойдет совершенно голый фитиль, сиреневый от холода, грациозно ступая по мерзлым кочкам. Глянешь и вздрогнешь — у него лицо человеческое, есть глаза. За ним вальяжно канает надзор в распахнутом полушубке и дышит паром как лошадь, каждому своё. Но самая гуща жизни — в Шизо. Вечером туда отправили Стасика Забежанского, скрипача из Ленинграда, его списали из культбригады за нарушение режима, проще говоря, за пьянство. Молоденький, красивенький, беленький Стасик долго не мог сесть за баланду, не помыв руки, долго не мог жевать хлеб, не почистив зубы два раза в день, утром и вечером. У него и папа музыкант, и мама музыкантша, и все его предки музыканты и композиторы. Стасика до сих пор тошнит, и потому он, получая посылки из дома, сразу меняет всё на поллитру. Сегодня он снова пришёл с бригадой поддатый, ему дали семь суток Шизо с выводом. А вместе с ним повели в кандей Толика. Елду из блатных. У него на головке члена бородавка с фасолину, она зудится и требует педераста. Невеселое завтра будет похмелье у Стасика Забежанского.

А Саша-конвоир поёт, наслаждается. Мороз трещит, снег повизгивает под ногами. Сашу мотает из стороны в сторону, я его держу, но соло его идет без антракта. Осталось уже метров двести, прожектора совсем близко, видна в позёмке оранжевая вахта. Уморил меня этот битюг, называется, он нас конвоирует. А Пульников чикиляет сбоку и советы даёт: надо бы ему морду снегом натереть, привести в божеский вид, а то неизвестно, какой дежурняк на вахте, Сашу могут на губу, а нас в Шизо.

"Встрепенись, краснопёрый, эй, соколик! Да он совсем коченеет, три ему уши, Женя!" Бросить бы его ко всем чертям, пусть лежит, а самим на вахту — заберите своего служивого. Но это юмор. Натер я ему уши, щёки без церемоний, он оклемался вроде, петь перестал, и пошёл уже своими ногами. А зона совсем близко. сия-

ет, как самое светлое место на земле. Да будет свет, приказал Бог, и стал свет. "И увидел Бог, что это хорошо!" Ха-ха! Чистилище наше огороженное, богомерзкое, век бы тебя не видеть, но мы спешим туда, торопимся, будто в дом родной.

"Женя-а! Мне пятьдесят шесть дней осталось! — кричит Пульников. — Женя, я всех люблю. И мусора этого тоже, — Пульников изо всех сил мутузит конвоира по спине. — Как выйду, мечту исполню!" Вся Хакасия уже знает про его мечту — взять свободно бутылку водки, поставить её на стол, и чтобы все видели, она в бутылке, не в грелке, не в заначке, и Пульникову ничего не грозит. Рядом гранёный стакан поставить, и чтобы ни одна сука не запретила Пульникову держать всё на столе круглые сутки и днём, и ночью. Пусть он не будет пить, но всё равно должна бутылка стоять и доказывать его свободу, такая вот у хирурга мечта. А мне осталось... Не дней и даже не месяцев. И лет мне осталось не один, не два. И не три-четыре. Но сейчас я тоже вместе с Пульниковым всех люблю.

Добрели, дошли, дотащились. Саша вдруг встал столбом и — где пистолет? Мы его хлоп-хлоп по кобуре — пусто. Тут самый момент сказать: мы похолодели, весь наш кумар как ветром сдуло, ни водки не было, ни пельменей. "Женя, мне пятьдесят шесть дней", — плачуще сказал Пульников. Сейчас никто в мире не угадает, что нас ждёт, если мы подведём к вахте пьяного конвоира, и он заявит, оправдываясь, что мы похитили пистолет. Ничего ему не остаётся, как состряпать рапорт, что мы, зека такие-то, напоили его с целью завладеть оружием. Не шапка пропала, не пайка, не кайло, пистолет ТТ с полной обоймой, и тут всего можно ожидать — и побега, и террора и даже вооруженного восстания. Завтра явится Кум из Первой хаты, и начнёт мотать нам новое дело, очень даже легко. А Пульников считает дни, часы и минуты до глотка свободы.

Надо брать власть, и притом немедленно. "Пошли обратно! — скомандовал я. — Будем искать следы".

"Следы". Мы же не просто шли, мы пьяного волокли и не следили за путём-дорогой. Да и позёмка крутит-вертит, какие могут быть следы?! Потеряй станковый пулемёт, его тут же заметёт снегом. Если бы мы шли по ровному тротуару, была бы надежда, но мы брели по канавам и буеракам, через ямы, пеньки, колоды. Посёлок БОФа недавний, тайга была год назад, тут сам чёрт ногу сломит, где теперь искать пистолет? Одна надежда, что ТТ не пушинка, ветром не унесёт, в крайнем случае, с миноискателем можно найти, сапёров позвать из Красноярска. Надо же было кобуру застегнуть, как следует, чёрт вас дери, разгильдяи. Я тут же проверил кобуру — крепкая застёжка, всё, куда надо вдето.

"А тебе давали оружие? Может, ты нас пустой сопровождал?" По лагерю они не имеют права появляться с оружием за исключением особых случаев, бунта, например, или битвы барак на барак. Ходят обычно с палкой, по-нашему термометр.

"Давали, мать-перемать! — огрызнулся конвоир. — Это вы, суки, похитили. Ат-тветите по закону!" Я его тащу всю дорогу, как рикша, он цепляется за меня, как за мамину юбку, и вместо благодарности, что мы слышим? Он обещает нам срока намотать.

"Вернёмся к Кате, — сказал я, — там он снимал полушубок, и ремень с кобурой вешал".

Идём обратно. Стараемся найти свой след. Хирург ногами снег загребаёт, авось повезёт, пистолет попадётся, а Саша опять затянул "Цыганка с картами, дорога дальняя". Он даже не отрезвел ничуть от потери оружия, за что трибунал может ему влечь на всю катушку, он свалит на нас с хирургом, и все дела.

"Провокация! — с одышкой сказал Пульников, пиная снег то с правой ноги, то с левой. — Хотят мне третий срок намотать. У-у, мусор!" — и опять конвоира по спине, по спине. Вариант вполне допустимый, кроме него хирурга в лагере нет, а зека прибывают и прибывают на стройку молибденового комбината, так что давай. Пульников, оперируй дальше, у тебя хорошо получается, ты в системе Гулага уже двенадцать лет. Да и что тебе на свободе делать? Жена тебя давно забыла, дети твои выросли, писем никто не пишет, и куда ехать после освобождения, ты сам не знаешь. А коли так, мы тебя не бросим на произвол судьбы, обеспечим тебе в лагере приют, почёт и уважение. У Пульникова зубы стучали не от мороза, а от предстоящей гибели. А я уже в который раз думаю: сколько же лет надо просидеть, чтобы отвыкнуть насовсем от свободы?..

Ночь, мороз, метель, чикиляем мы втроем в сторону посёлка БОФа, и шествие наше имеет странный вид: один идёт руки в брюки, хрен в карман, а двое перед ним пляшут, будто нанялись. турусы разводят, кренделя выписывают, снег на ветер пускают. Метёт позёмка, крутит, вертит, зябко уже нам от тоски и дурных предчувствий, идём в Катин барак. Одна польза от поиска — выветрится хмель до доньшка, и на вахте мы будем в состоянии дать трезвое объяснение. А там разбирайтесь, может быть, вы действительно не давали ему оружия.

"Женя, пистолет чёрный, — нудно тянет хирург. — Пожалуйста, пригибайся, согни свою шею пониже. — Женя, мне хотят новый срок, неужели не понимаешь? — Он хватал меня за рукав. — Я же тебе операции доверяю, я же твой учитель, Женя!" — Он уже был на грани истерики.

Дошли мы снова до Катиного барака, а там уже ни огонька.

бухаем в двери, будим, кого попало, — где Катя живет? Разыскали, стучим. Боже милостивый, если ты есть, помоги нам! Катя уже спала и ребёнка уложила, голос у неё грубый за дверью: "Чего надо?" — "Катя, извини, мы оставили у вас важную вещь". Она открыла. "Женя, честно, выпили всё до грамма". Она поняла так, что мы вернулись за добавкой. Я ей про пистолет, она сразу заахала. Вошли в комнату, не выпал ли он где-нибудь возле вешалки, когда этот олух снимал полушубок. Конвоир с размаху сел на табуретку возле умывальника, и табуретка поехала, я его едва успел поймать.

"Хо-осподи! — Катя худенькая, ключицы торчат как удила, со вздохом поправила волосы, страдая из-за нас с хирургом. — У, чёрт комольи!" Замахнулась на него так, будто с лица земли хотела смахнуть, ей же ясно, ничего мы здесь не оставили, она всё прибрала после нас. Смотрела отрешённо, думала, сдвинув брови, шагнула к Саше, рывком расстегнула его полушубок, так что пуговицы затрещали, и стала его шмонать, вытащила из-за пазухи пистолет и подала мне, чёрный, тёплый, тяжелый — век тебя не забуду, Катя-Катюша! Если бы вот так все пациенты спасали нас. Мы их, а они нас. Конвоир дёрнулся за оружием и повалился с табуретки в детскую ванночку с бельём. Теперь уж мы его ловить не стали, чёрт с тобой, будешь кандёхать по морозу мокрый. Я едва не удержался, чтобы не тюкнуть его по темечку тяжёлой рукояткой, желание такое психопатическое, так бы и тюкнул. Не от горя, а уже от радости. Сунул пистолет в карман бушлата, своего, разумеется, а Катя-спасительница отстегнула булавку от своего халатика и застегнула карман моего бушлата. "Тащите его за уши, быстреей протрезвеет!"

Оказалось, Саша не такая уж дубина. Увидев, что Катин муж выставил аж три бутылки, он допёр, чем пахнет, сунул свой манлихер за пазуху и по пьянке забыл. Сашу каждое утро надрачивают против нас. Хотя мы и врачи, но всё равно зека, больных мы спасаем, а здорового можем и кокнуть, если он при погонах.

Огни лагеря видны были даже с луны, шли мы резво, пурга стала потише, зато мороз покрепче, а Саша всё пел и пел! Он перебрал весь лагерный репертуар, ни одну строевую не спел. Мы молчим, терпим, только Пульников напоминает: "Женя, проверь — на месте?"

Вблизи вахты — вопрос, как быть, самим сдать пистолет, или доверить конвоиру? Брать нам в руки оружие не полагается. "Женя, вспомни того чокнутого самострела с вышки. А мне уже..." — Филипп Филимонович сдвинул рукав бушлата, посмотрел на часы — пятнадцать минут первого. Он сказал, сколько ему осталось.

Чокнутому самострелу мы вынимали пули из печени и из по-

звончика. Принесли его прямо с вышки, весь в крови. Заступив на пост, он начал горланить песни, мода такая в охране нашего лагеря, одни вокалисты собрались. Пел-пел, и начал стрелять по зоне короткими очередями. Как только зека появится возле барака, он открывает огонь. Ни в одного не попал. Прибежал начальник караула, что за пальба? И тот с досады пальнул себе в живот — попал. Или пьяный был, или действительно сошёл с ума. Три часа возились, извлекали пули, зашивали печень, намучились, но спасли. В палате он начал метаться, вскакивать, сорвал повязку и умер от кровотечения. Если мы дадим конвоиру пистолет, он может нас застрелить в упор, симптомы чокнутости у него есть. Но если на вахте увидят в руках у заключённого пистолет, могут дать команду открыть огонь с вышки. Нас расфукают из пулемёта.

"Кончай петь, — подал я Саше команду. — На вахте вон Папа-Римский". Начальника режима боялись не только зека, но и сами надзиратели. Следующую команду подал Пульников. "Стой, мать-перемать! — Он шагнул к Саше вплотную. — Ты присягу давал, туды тебя растуды? Мы тебе доверяем оружие и, чтоб ты помнил, трибунал тебе с ходу наматает десять лет, а мы пойдём свидетелями. Я уже вольный без пяти минут".

Конвоир вроде опомнился, вполне осмысленно протянул мне руку. Я подержал пистолет, хорошая, чёрт её бери, игрушка, так и прилипает к ладони, тяжёленькая, действительно, самый веский аргумент, так и зовёт или по темени долбануть, или нажать на спусковой крючок. Пульников засёк мою опасную завороченность. "Но-но, Женя! Мне осталось пятьдесят пять". Я вложил пистолет в кобуру и сам её застегнул.

"Шагай рядом с нами, — приказал хирург. — Только не вздумай хвататься за оружие". Я добавил: "Шаг вправо, шаг влево считается побег".

Вахту прошли спокойно, зря волновались. Хватит на сегодня приключений, будут они ещё и завтра, и послезавтра. Двинули с Пульниковым в больницу через всю зону спящую, тихую, и теперь хирург болтал уже без умолку: "Хороший парень Саша, есть же люди среди надзирателей. Ты, Женя, тоже хороший парень, я из тебя классного хирурга сделаю". Он опьянел с отсрочкой, хитёр, бродяга. Зашли в больницу, тепло и чисто, все спят, а Пульников загорланил на манер конвоира: "Как шли мы по трапу на бо-о-орт в холодные, мрачные трю-ймы".

Собрат наш, доктор Вериго не спал, лежал на койке с книгой в руках. Пульников сел к нему и начал тормозить. "Ну, расскажи, Верижка, как ты на медведя ходил!"

Олег Васильевич Вериго, один из самых уважаемых людей в лагере, военный врач, справедливый, выдержанный, всегда спокой-

ный, сейчас был заметно опечален. Пришло ему письмо от жучек из Майны, там женский лагерь. Олег Васильевич подал конверт, и Пульников начал с выражением: "Только ты не огорчайся, Олег Васильевич, эта сучка гумозница не заслуживает тебя. Она в первый же день полезла на вышку. Её все вертухаи уже перепробовали. Мы её приговорили, сегодня обстригли и опарафинили, только из уважения к тебе, дорогой и любимый наш Олег Васильевич".

Пожалели, называется. Но у них свои законы. А Вериго страдал из-за того, что издеваются над Тамарой. Она ему чуть не каждый день письма писала. Тоже, между прочим, майор медицинской службы. Бывает же такое совпадение — она, военврач, своего муженька мышьяком, а он, военврач, свою жёнушку из пистолета. Хороша парочка, баран да ярочка, — сказал бы, да не скажу. Славный человек Вериго. И Тамара редкая женщина. Её судил трибунал в Алма-Ате, тот же, что и меня, и дали ей двадцать лет, пришли мы одним этапом, она сразу нацелилась на Вериго и своего добилась. Симпатичная такая ведьма, очень привлекательная. "Не тужи, Верижка, найдёшь другую, — блажил Пульников. — За что тебя бабы любят, мне хотя бы одну десятую".

Зашёл санитар, принёс чайник и сказал, что меня вызывает Волга.

2

"Эх, Евгений Павлович, — укоризненно сказал Волга, — по голосу чую (он слепой, на глазах повязка), поддал ты сегодня, какую тебе казнь придумать?"

На той неделе мы с ним дали слово: ни глотка до Нового года. Казалось бы, в лагере воздержанию режим способствует, однако волку найти легко, закажешь и принесут, в крайнем случае, одеколон. Способы доставки — в грелке, в перчатке резиновой или в шланге, обмотает вокруг себя, или в шарф и на шею, надзор на вахте хлопает, щупает, иногда поймают, а чаще — нет. Умудряются. В рабочую зону вольняшки приносят или бесконвойные зека, хотя риск большой, могут законвоировать. Вольняшкам тоже грозят неприятности, анкету могут подпортить. В лагере разливаешь по стаканам и — будем здоровы. Но, бывает, и бутылку приносят. Когда мы с Волгой сошлись в первый раз потолковать один на один, он выставил бутылку армянского коньяка — высший шик. Мы не пили с ним каждый день, перепало изредка, но с похмелья и он чумел, и я ходил сам не свой, решили завязать. И вот являюсь я подшофе, иду от стенки к стенке, а тут ещё хирург рулады пускает: "Будь проклята ты, Колыма-а, что названа чудной планета-а-й..."

Сели мы с Волгой у печки в углу возле операционной, никто

нам не мешает. В первые дни Волга ходил по больнице с шестёркой-поводырём, но скоро освоился и знал все больничные закоулки как свои пять пальцев. Он не унывал, хотя ослеп недавно, уже в нашем лагере. Для меня такой оптимизм загадка. Я всегда примерял чужие недуги на себя — выдержи ли? Вижу, туберкулёзник харкает кровью, но спокоен, без паники, иногда улыбается, а я думаю, вдруг такое со мной случится, как я себя поведу? Или гипертоник лежал у нас, совсем молодой, кровоизлияние в мозг, инсульт. Я себя настраивал на худшее, учился терпеть, чтобы любой недуг для меня не стал неожиданностью. Волга, надо сказать, держался молодцом. Ночью ему не спится, он привык в карты шпилить, лучший стирогон Гулага, а днём дрыхнет. Сидим в тепле, я доволен, я недавно спасся. Волга чувствует мою взвинченность и ждёт подробностей, как я там на свободе лихо подженился, сошёлся с медсестрой в закутке, так что, не будь жлобом, излагай подробно и не спеша. Даже, если не повезло, сочини, приври, так надо. Однако, прежде чем рассказывать про любовные утехы, я признался Волге, что тащил на себе конвоира.

"Как, на себе? — переспросил Волга. — Мусора — на себе?" — В голосе его угрожающая растяжка. "Обыкновенно тащил, под микитки, до самой вахты". — "Порядочный каторжанин дал бы тебе немеддя в рыло. Тащить на себе мусора!" — "Это ещё не всё. Волга, — продолжал я азартно, словно стремясь наказать его за упрощение сложностей. Он мне свой блатной катехизис, а я ему правду жизни. — Мы ещё пистолет потеряли".

Волга расхохотался: "Ну, ты романист, фантаст, ох, Евгений Павлович, хватил ты сегодня спиртяги, давай трёкай дальше, только не забудь место мне указать, где потеряли, сейчас сбегая, подниму".

Я ему рассказал всё, как было. Волга захлебнулся от негодования. "Фраера, ну фраерюги! Да тебе за это!.. — Он не находил слов. — Да тебя все подряд презирают. Завтра ты потеряешь уважение всего лагеря. — Волга ярился, ярился, ходил передо мной от стенки к стенке, шипел на меня, шипел, скоро ему надоело, и он спросил с детским любопытством: — Ну и что, ты его в своих руках держал? Какой марки? Тэтэшник?" — "Держал и в своём кармане тащил. Настоящий ТТ с обоймой".

Волга сел, Волга встал, Волга заметался взад-вперёд, не находя себе места от жгучей досады. "Да ты знаешь, что значит здесь, на нашем штрафняке в Хакасии, заиметь зекам оружие? Это свобода всему лагерю! Эх, Евгений Павлович, вот так мы и пропадем. Тащил пистолет и сам вернул его мусору — ну ни в какие ворота! Никогда в жизни не признавайся в своём позоре, помяни моё сло-

во, опарафинят тебя навек, никакая медицина тебя не отмоеет, под нарами будешь свой срок досиживать".

Меня уже стало злить, какого чёрта, в конце концов, он меня поносит! "Что я, по-твоему, должен был сделать?" — "Спрятать!" — рывкнул Волга так, что повязка его взметнулась на лоб. — "Тревогу поднимут, искать будут. И срок дадут". — "Ищи ветра в поле. С умом спрячешь, никто не найдёт. Завернул в носовой платок, сунул в варежку и под камень, в дупло, под дерево, под мосток, да куда угодно. Запомнил ориентир, послал бесконвойного, и завтра этот шпалер с маслинами был бы в наших руках. А вообще, я бы на твоём месте раздел краснопёрого, влез в его полушубок с погонами, забрал бы его ксивы, сел в экспресс и покатыл до Москвы".

Пошёл я спать и долго ворочался. Я всё-таки легкомысленный, даже представить не мог, что Волга оценит мои действия как позорные. На самом деле, упустил шанс. Взял бы пистолет, переоделся и с документами сержанта поехал бы, допустим, до Владивостока, там в бухте Золотой рог спокойно сел на корабль и поплыл открывать Америку уже с другой стороны. А куда Пульников? Благородство обязывает взять его с собой. Но как вдвоём на одну ксиву? Я бы его пристрелил по Джеку Лондону: мустанг не выдержит двоих. Укрылся бы в штате Калифорния, женился на кинозвезде, стал бы миллионером и написал мемуары о своей честной жизни. "Ничто так не похоже на нас, как наше воображение". Есть вариант более серьёзный. До станции Ербинская семь километров, к утру я бы дошёл туда, сел в воинский вагон, у меня красные погоны, пистолет, еду я по оперативной надобности разыскивать — кого? Сбежавшего из мест заключения такого-то. Называю две моих фамилии и три моих статьи. Очень занятно, как я ловил бы самого себя. Поймал бы или нет? Я, такой добросовестный, дисциплинированный, поймал бы обязательно и водворил на место. Я сын своего времени.

В сюжете что-то есть. Не могу спать, ворочаюсь, не забыть бы мне вариант ловить самого себя, потом обдумать. Собственно говоря, я это делаю всю свою сознательную жизнь. Ругаю себя, корю, ни один свой промах не пропускаю. Казню себя сам, но оказывается, недостаточно, трибунал добавляет — вот сижу. Чалюсь. И не рвусь на свободу. Не использовал такую возможность. Очень всё-таки интересно — ловить самого себя. С пистолетом: стой, такой-то, он же такой, руки вверх!

Пульников сладко спал, всхрапывал. Ему одним днём меньше сидеть. Волга, между прочим, взъярился, когда услышал, что Филипп считает дни, — не досидит! Замечено: с теми, кто по-жлобски считает крохи со стола свободы, обязательно что-нибудь приключится.

Поступил больной Матаев, двадцать один год, срок девятнадцать лет по Указу. Принимал его сам Пульников и сразу поставил спорный диагноз — болезнь Банти. Спленомегалия, увеличение селезёнки, застой крови в портальном круге, много жидкости в брюшной полости, надо его срочно брать на стол. Банти так Банти. Мне нравятся именные симптомы, смакую диагнозы по-латыни, тем более, когда вокруг ботают по фене. Вспоминаю ассистентов Окуня Давида Натановича или Хасана Хусаиновича Рахимбаева, доцентов по терапии, — пригодились мне их накачки, хотя не для тюрьмы они меня готовили. Впрочем, как сказать. Где бы ты ни был, на воле, в неволе, среди врагов, среди друзей, на войне или в мирной тишине, всегда и везде нужен хороший лекарь. Терзатели-преподаватели стали ангелами-хранителями. Мне ласкали слух симптомы, диагнозы, названия инструментов, аппаратов. Симптом Пастернацкого — бьёшь по почкам: больно, не больно? Закон Старлинга, сердечная мышца сокращается по принципу: всё или ничего, как в любви — всё или ничего. Или как в тюрьме — вся свобода нужна, а не по частям. Аппарат Рива-Роччи. Музыка имён, поэзия латыни. *Per aspera ad astra* — через тернии к звёздам.

Взяли Матаева на операцию. Операционным блоком у нас заведует старший лейтенант медслужбы Зазирная, строгая, если не сказать, вредная, как и положено, собственно говоря, сестре операционной. Фронтовичка. Явилась как-то при параде — два ордена Красной звезды, орден Отечественной войны и медали за взятие почти всех столиц Восточной Европы. Сегодня она добрая, поскольку пришёл Вериго давать наркоз. Он предпочитает обыкновенную маску Эсмарха — проволочный каркас, сверху марля, на неё капается эфир, больной засыпает. Я ассистирую, обрабатываю операционное поле по Гроссиху — Филончикову. Пульников говорил, раньше обрабатывали по Гроссиху, теперь добавили Филончикова. До борьбы с космополитами раздражение брюшины называли симптомом Блюмберга, теперь Щеткина-Блюмберга. Со дня на день к фамилии Рентген присандалят Сидорова-Петрова. Пенициллин тоже наши открыли (как сейчас помню) Манассеин и Полотебнов ещё в прошлом веке.

Сделали разрез слева, вскрыли — огромнейшая селезёнка с детскую голову, обилие застойных сосудов, сбоку ещё пузырь водяной — ничего не понятно. Гадаем. Эхинококки бывают в печени. Киста? Нет, киста у селезёнки исключена. Начали искать корень, что за опухоль, откуда она? Видим, перекрут сосудов, из-за этого

отёк, без нашей операции Матаеву не выжить. Пульников полез глубже, а пузырь возьми да и лопни, как надувной шарик, залило всё жидкостью, прозрачной, без запаха. Подхватили кохерами края пузыря, остатки жидкости вычерпали, я поднял лоскуты, стала видна полость и взбухшие сосуды. Ничего не понятно. Удаляем опухоль и остатки кисты, Вериго нас поторапливает: наркоз кончается. Перевязали толстый сосудистый пучок и только теперь увидели селезёнку, нормальную, сиреневую, без изменений, — что же мы удалили? Гадать, однако, нет времени. Я уже заметил: теряешься перед живой тканью, всё не так, как в учебнике или в анатомическом атласе. Операцию закончили, больного перевели в палату, но тревога у меня осталась. Ночью у Матаева начались сильные боли, естественно, большой разрез. Я ему сделал пантопон, поговорил, он в сознании. К полуночи я задремал на кушетке в ординаторской. Пришёл Гушин, санитар, баптист: Матаеву плохо. Я в палату, он уже без сознания и какой-то запах странный — цветов, духов, совсем неуместный запах. Сделал ему камфору, кофеин, продержал его до утра. В девять пришла Светлана Самойловна, вольный врач, очень толковая, я с ней к Матаеву, а она сразу с порога: запах фиалок — признак уремии, мочекровия. Но почки мы вроде не трогали, почему мочекровие? Анализ дал дикий лейкоцитоз. Туман ещё гуще, у больного коматозное состояние. Короче говоря, записали мы ещё один экзитус леталис. Олег Васильевич первый допёр — мы вырезали ему почку. Но у человека их две. А вторая отказала, возможно, пиелонефрит. Окончательный диагноз поставит вскрытие, обязательно в присутствии оперуполномоченного. Бывало, под видом покойника из морга вывозили живых — в побег. Прозектор Мулярчик рассказывал, что во время войны умирало столько, не успевали вскрывать, и чтобы не дать зевака, учредили на вахте бдительную кувалду. Доставляют на телеге трупы, вахтёр берет пудовый шутильник, и с размаху штампует каждый череп. Если затесался живой среди мёртвых, попробуй теперь сбежать. Мулярчик трепло отменное, но в лагере выдумка в нашу пользу важнее правды. Мы с ним работали бок о бок, делали одно дело, но он такое рассказывал про нашу работу, я даже вообразить не мог. Он был творец фольклора, сидел уже лет пятнадцать и был типичный лагерник, мастер трёпа, любой случай он с ходу перевирал. Бывают книги для взрослых, роман "Дон-Кихот", например, а надо сделать для детей, "Детгиз" делает. Так же и Мулярчик всякое событие делал достоянием зековской байки, переиначивал, чтобы всё против режима, против кума, бил в одну точку и довольно умело. Тоже ремесло своего рода, есть такие драматурги. Спорить с его подачей было трудно и даже опасно — он тебя заплюёт. Он всегда будет прав со своим враньём, а ты никогда со своей правдой.

У него, можно сказать, партийность в изображении действительности. Заходит Мулярчик в палату к блатным и начинает этакой валторной, бронхитным зековским тембром, глуховато-хрипловатым: "Приканал ко мне в процедурную Папа-Римский перевязать себе переднее копыто. Поставил термометр между ног и прёт на меня буром, чтобы я перед ним на цырлах. А я ему от фонаря леплю: ничем не могу помочь, гражданин начальник, нет стерильного материала, не могу же я вас перевязывать половой тряпкой. А он на меня рычит, сука — молчать! Перевязывай, чем хочешь, найди, достань! Но, братцы-кролики, разве я могу позорить свои честные зековские руки? Нет, говорю, бинтов, гражданин начальник, нельзя вас инфицировать, ваша ненаглядная жизнь нужна родине и товарищу Сталину. А он смотрит и видит — на столе у меня лежат бинты в упаковке и по-русски написано во-от такими,— здесь Мулярчик показывает руку по локоть и покачивает ею выразительно, артистично,— вот такими буквами написано: "Бинт стерильный". По слогам прочитал, падла, еле-еле разобрал, у него даже двух классов нету. Хватает термометр и по горбу меня, по горбу. А мне только того и надо, я ноги в руки, и дёру. Так и не перевязал, господа босяки".

Зека одобрительно посмеиваются, здесь не имеет значения, верят они или не верят, главное, Мулярчик попал в жилу, спел правильную песню. А как было на самом деле? Сижу я в процедурной, выписываю требование в аптеку на завтра, влетает очумелый Мулярчик: "Атас, режим!" — головой крутит, руками шарит, нет ли чего у нас тут на глазах запретного? Заходит Папа-Римский. Едва он переступил порог, как Мулярчик двумя руками выхватил из-под меня табуретку и ринулся к Папе с таким рвением, будто сейчас уложит его на месте одним ударом. "Садитесь, гражданин начальник, прошу вас! Слушаю вас!" Лебезил, сопли ронял, сыпал мелким бисером без умолку, перевязал его по высшему разряду и проводил фокстротным шагом до выхода из больницы. Никакого термометра, конечно, у Папы не было, он и без палки хорош, одного его взгляда боятся.

Но Мулярчику надо отдать должное, он умел абсолютно всё — и уколы, и вливания, и перевязки, банки, клизмы, вскрывал трупы, под микроскопом мог лейкоциты посчитать и РОЭ определить. Посадили его перед войной, он устроился санитаром в морге, сначала трупы хоронил, потом начал их вскрывать, кантовался всё время вокруг санчасти — то хвоеваром, людей от цинги спасал, отвар кружками выдавал, то раздатчиком в столовой, то медбратом, потом фельдшером, одним словом — универсал.

Был Мулярчик и нет его, неделю назад освобождился, и некому теперь вскрывать Матаева. Пульников не может, руки для опера-

ционной бережёт, чтобы трупный яд не попал. Олег Васильевич занят на амбулаторном приёме. Ясно, что вскрывать придётся мне. В институте мы ходили в прозекторскую на Уйгурской, смотрели, как вскрывают патологоанатомы, но сами не прикасались. Лагерь всему научит, тем более, моя задача знать и уметь как можно больше. На втором курсе мы проходили в анатомичке неврологию, требовалось скальпелем и пинцетом выделить тонкие ниточки на всём протяжении нерва со всеми его ответвлениями. Ассистентка по анатомии Наталья Арнольдовна Урина поручила мне отработать самый сложный нерв — фациалис, лицевой, на женском трупе. Я это с блеском сделал, выделил все паутинки, но в тот самый день, когда надо было продемонстрировать ювелирную мою работу, труп со стола убрали. Оказалось, женщина погибла от укусов бешеного волка, только сейчас узнали, а вирус бешенства очень стойкий. Убрали труп, но я не взбесился — ещё одно доказательство, что препарировал на отлично, не порезал пальцы и не ввёл себе вирус гидрофобии.

Был в лагере терапевтом, начал работать хирургом, почему бы не овладеть ремеслом прозектора?

На вскрытие пожаловал Комсомолец, молодой кум из новеньких, блондин, спортсмен, на кителе комсомольский значок, фамилия Стасулевич. Он прибыл к нам после милицейской школы и с первых дней начал шустро проявлять себя, гонялся по лагерю за откзачиками, остановит, возьмёт за пуговицу и начинает воспитывать, где твоя сознательность? С ходу ему прилепили кличку. Както пришёл к нам в больницу и сказал примечательную фразу: лишение свободы способно не только исправлять осуждённого, но и развивать антиобщественные черты его личности. Зачатки такие у меня всегда были. А в общем, Стасулевич не лютый, вполне симпатичный, и фамилия не плебейская, удивительно даже, как его приняли в милицию.

Пошли в морг. Пульников начал меня перед Комсомольцем хвалить — оставляю вам своего достойного ученика, у него твёрдая рука, зоркий глаз, он грамотный врач, вы не смотрите на его формуляр, он уже перешёл на пятый курс, когда его забрали. Начал я с черепа, как положено, хотя мы головы не касались, но так надо. Делаю круговой распил. Твёрдая, надо сказать, черепная кость, пила идёт как по железу или саксаулу сухому-пресухому. Над бровями, над ушами, через затылок делаю аккуратную шапочку, чтобы не повредить мозговые оболочки. Вставил в распил расширитель и дёргаю — не так-то просто, кое-как оторвал крышку с хрустом, не успел поймать, и она покатила по полу, брякая, как черепок разбитого кувшина — вот тебе первый промах, не мастер. Комсомолец пишет. Пойдём дальше. Провожу широким но-

жом от подбородка до лобка, вспарываю внутренности. Подробности лучше опустить. Печень в норме, селезёнка в норме, посмотрим, что так с почками. Перед трупом нет той растерянности, как перед живым, когда видишь кровь, слышишь, как бьётся сердце, ткани пульсируют, жизнь трепещет в твоих руках. В морге уже ничего не пульсирует, можешь, не спеша всё рассмотреть. Справа почки не оказалось. Ищу-ищу — нет почки. Либо врождённая аномалия, либо я по неопытности не туда пошел. Общмонал все внутренности, — даже следа никакого. Это же позор, не могу найти почку. А хирург меня так нахваливал.

"Что там у вас?" — Комсомолец переминается с ноги на ногу. Холодно в морге, карандаш у него в варежке, а мои руки только в резиновых перчатках, но мне не холодно, у меня цыганский пот на лбу. Диктую: "Правая почка отсутствует". Комсомолец пишет, и я вижу, как пригнулся к столу и застыл Пульников — он уже обо всём догадался. Ищу левую почку, нахожу сосудистую культю, я её собственноручно вчера перевязывал, убеждаюсь — левой почки нет. Культя есть, надёжная, наша, операционная, ни один шовчик не разошёлся, ни один узел не развязался, я буду отличным хирургом, но! Большое "но".

Комсомолец замёрз, зубы клацают, ждёт, ну что так у вас ещё? "Левая почка отсутствует", — говорю я и соображаю: Мулярчик этого бы не сказал. "Левая почка отсутствует, — повторил за мной Комсомолец. — Разве так бывает?"

Молча вскрываю мочевой пузырь, вместо трёх отверстий вижу два и соображаю, у парня была врождённая аномалия, он родился с одной, удвоенной почкой. "Сколько у человека почек?" — спросил Стасулевич. Хирург уже поднялся на цыпочки, бледный, старый, лицо как из теста. Ему оставалось уже тридцать семь дней. "Подними брюшину, вон та часть! — скомандовал он. — Отверни тонкий кишечник! Не умеешь вскрывать, а берёшься!"

Я стою, соображаю, как вывернуться, а он на меня все шары валит. У меня руки задрожали от бешенства. "Мы удалили почку! — заорал я — Единственную!" Пульников завизжал: "Ты думай, что говоришь! — Он студент, понимаете? У него диплома нет!" — "Есть предложение успокоиться, — сказал Стасулевич весело. — Сколько почек у человека, зека Щеголихин?" — "Понимаете, гражданин начальник, здесь врождённая патология. Бывают случаи. В Берлинском музее есть телёнок с двумя головами". — Я с трудом говорил, я психанул удивительно быстро, будто полыхнула искра по бензину. Я был недоношенный врач, но я хорошо помнил анатомию. Веригу, например, тоже окончил четыре курса, их так и называли тогда, зауряд-врач, вручили диплом, нацепили шпалу в петлицу — и на фронт.

"Хирург допустил ошибку?" — голос Комсомольца суровый. Обращается он ко мне. Сейчас я прозектор, ставлю окончательный диагноз, выношу приговор лечащему врачу. У меня уже псих прощёл, я начал вдумчиво излагать то, что нас могло спасти. Большой погибал от застоя крови в портальном круге. Нам его доставили в стационар еле живого. Мы срочно взяли его на операцию по жизненным показаниям. Он уже был не жилец, — я перескакивал с латинской терминологии на житейские понятия.

"Всё подробно записано в истории болезни", — перебил меня Пульников.

"А если бы не удалили?" — резонный вопрос. Комсомолец спрашивал только меня, хирурга он совсем не слушал, будто поставил на нём крест. — "Он бы всё равно помер, — твёрдо сказал я. — Перекрут мочеточника, это уже конец. Операция — единственный выход". — "Это называется выход? — Комсомолец кивнул на труп. — А что мне писать?" — "Записывайте, — продиктовал ему Пульников. — Смерть наступила в результате уремии. Прошу вас, гражданин лейтенант, пройти в стационар, там история болезни, мы с вами внимательно всё проанализируем".

Они ушли, а я начал убирать внутренности со стола обратно в чрево и зашивать труп. Я был оскорблён и растерян. Сцепился с хирургом, как как ханыга-шаромыга. Но в чём я виноват? По его мнению, я вместо почки должен был показать какую-нибудь кишку Комсомольцу, и назвать почкой. Мулярчик так бы и сделал. Но я действовал не как шобла-вобла, а как специалист. Я должен говорить только то, что вижу просвещённым взором, не вилять, не трусить, не угодничать. Для чего делается вскрытие? Для уточнения диагноза, для подтверждения правильности лечения или, наоборот, неправильности. Как мне быть? Кем быть? Пошлым зекком, изворотливым, или всё-таки медиком? Выбирай. Я не хочу, чтобы лагерь перековал меня в Мулярчика, — не хочу!

Через день было три плановых операции — энуклеация глаза, реампутация культи и грыжесечение. Пульников меня не позвал, делал с вольнонаёмным Бондарем.

4

Хожу кислый, Волга пристал, в чём дело. Да ни в чём, просто вспомнил нечаянно место своего нахождения, чему тут радоваться? Вместо того, чтобы утешить, Волга начал меня нести по кочкам — надо ещё посмотреть, кому легче, нам тут в лагере или вольняшкам за проволокой. Ты думаешь, тебе бы там лучше сейчас жилось? Здесь тебя уважают, а в Алма-Ате тебя бы нацмены за шестёрку держали. Есть воровское правило — не киснуть. В любых

условиях. Посмотри, хоть где, в тюряге, в любом кандее всегда вора узнаешь по настроению, он весёлый. Первый босяцкий закон — не жевать сопли, не строить из себя верёвку, поставленную на попа, это удел фраеров и интеллигентов. Есть три заповеди в лагере: не верь, не бойся и не проси. Повтори, что я тебе сказал.

Волга три класса кончил, а я четыре курса, и он меня учит. И ведь прав. Ладно, не буду киснуть, обещаю. Но рассказать про вскрытие надо, пусть Волга рассудит, хотя он и младше меня на три года, между прочим. Я говорил горячо и с обидой, но Волга со мной не согласился: охолонь, не гони коней, Евгений Павлович, ты не прав. Ты обязан был скрыть ошибку хирурга. Твоя честность в данном случае зола, пыль и даже хуже. Споры в лагере решаются просто — держи мазу против Кума, не ошибёшься. Хирург тебя погнал из помощников и правильно сделал. А сам бы ты как действовал, если бы тебе собрат в карман нахезал? Сидишь ты без году неделя и пытаешься учить уму-разуму старого каторжника, он уже второй червонец разменял. Я оправдывался — меня учили врачевать, а не врать. Если бы все люди лгали, химичили, изворачивались, то не было бы у нас правды, мужества и отваги. Не убедите меня никаким сроком. Лагерь не самое страшное, потерять совесть и честь страшнее. Волгу мой наскок задел, он презрительно оскалился и зло сказал: тебе, фраеру, ещё рога не ломали, а жаль, неучёный ты, начнут ломать, вместе с башкой повредят, учти. Заруби себе на носу: если перед тобой мусор, да ещё ксиву пишет, ты обязан темнить, врать, хамить и любой ценой выгораживать зека. Иначе тебе рано или поздно жизнь укоротят. Пульников тебе сделал авторитет, ты сам говорил, по гроб жизни ему обязан, и тут же мотаешь ему срок. Волга для убедительности руками перед собой разводил, и от того, что на глазах у него повязка белая, он выглядел как сама Фемида, выносящая приговор. "Ты должен заказать бутылку и пойти к Филиппу с извинением".

На том расстались, но через пару дней Волга спросил, помирился ли я с Филиппом. Народный контроль. Нет, сказал я, это против моих убеждений. Он от души рассмеялся: ну ты карась, притом жареный. Но почему карась, а не что-нибудь другое? Потому что жила-была такая мудрая рыба вроде тебя, увидела, как щука пескаря съела и кричит: это по-о-дно, это неблагооро-о-дно. Щука от удивления свою пасть раскрыла, и сама не заметила, как карася схавала. Так вот и тебя Кум проглотит. Волга мне популярно изложил сказку Щедрина, мне стало обидно, потому что и впрямь похоже: "Карась рыба смиренная и к идеализму склонная: недаром его монахи любят".

"Нет, Евгений Павлович, так дело не пойдёт, ты не в институте благородных девиц. Сам себе сук пилишь, на котором сидишь —

приподняв лицо, как все слепые, он втолковывал мне терпеливо, и я удивлялся его старанию, вместо матерков он подбирал нужные слова: — Вот уйдёт Филипп через неделю, кто за него главным хирургом будет? Кроме тебя некому, а ты целку из себя строишь. Я тебе кликуху дам: Фон-Барон".

Хирургом после него будет Бондарь, мне в любом случае не позволят, а кроме того, начальник медсанчасти даст заявку в Гулаг и пришлют хирурга по этапу, свято место пусто не бывает. Есть ещё Глухова, начальница стационара, она и терапевт, она и ухо-горло-нос и тоже ассистирует Пулькинову. У нас здесь установка на врачей-универсалов. Вериго ведёт амбулаторию, сифилис лечит, гонореею, и на операциях тоже стоит, и в Сору его выводят помочь оказывать какому-нибудь гражданину начальнику, мы тут всё умеем. Диплома нет, но так ли это важно? Если бы Мулярчику предложили баллотироваться в действительные члены Академии медицинских наук, он бы и бровью не повёл, тут же собрал бы все ксивы необходимые и, что главное, прошёл бы! А я не хочу, моя цель — делать операции, всё уметь, быть главным в мастерстве, а не по должности, не по власти.

Волга сам пошёл к хирургу — так и так, Филипп Филимонович, ваш помощник, мы его крепко уважаем, допустил ошибку, сильно переживает, вы должны его простить. Поговорил с ним по-человечески, и Филиппу легче стало, и мне. Помирились.

А на другой день снова случай со смертельным исходом, ну как назло! Уж скорее бы он, чёрт подери, освобождался.

Большинство операций были благополучные, но я беру именно те, которые резко осложняли наше простое житьё-бытьё. Куда проще — кормят, поят, одевают, обувают, охраняют, проверяют, чтобы ты не потерялся, и ещё работу дают, — вот так все люди будут жить при коммунизме. Но иногда простая жизнь осложняется. Ехал хлеборез Ерохин на телеге, как обычно вёз булки из пекарни в Ольгином логу, он уже бесконвойный, оставалось тринадцать дней, въехал на территорию лагеря, миновала телега штаб, а тут подбежал хмырь и ударил хлебореза ножом. без слов, молча. Ерохин не ожидал и всё-таки увернулся, подставил плечо, иначе нож угодил бы в сердце. Удар был сильным, с намерением припороть. Возможно, Ерохина проиграли, он отказался уступить хлебное место тому, кому надо. Или не выполнил заказ блатных, не провёз водку, одним словом, нарушил шариат — сам погибай, а блатных выручай. Подробности пока неизвестны, но в общем чем-то парень на меня похож. Шибко честный и сам по себе. Доставили его к нам на телеге вместе с хлебной будкой. Глубоко пронзена дельтовидная мышца левого плеча, сильное кровотечение, но рана не опасная, ни один жизненно важный орган не задет. Задача про-

стая — дать оглушающий наркоз, рауш, у нас есть ампулы с хлорэтилом, перевязать порезанный сосуд, наложить кожные швы, можно скобки, повязку, и всё. Но дело было уже вечером. Зазирная ушла и унесла ключи, Пульников наложил давящую повязку. А на утреннем обходе я своим глазам не поверил — рука раздулась как бревно, пальцы превратились в култышки, ногти заплыли, страшно смотреть. Неожиданный, необъяснимый отёк. Перемирие с хирургом удерживало меня в рамках, но всё же какого чёрта, почему не вызвали вчера Зазирную? Филипп уже был в трансе, на свободе, не мог вникать в больничные заботы, лучше бы ему уйти сейчас в баню куда-нибудь, в хвоеварку. Подняли Ерохину руку на подставку, чтобы улучшить венозный отток, собрали консилиум — Бондарь, Вериго, Светлана Самойловна, начальница стационара Глухова, Пульников и я, — что мы имеем? Колото-резаная рана, значительный травматический отёк и уже начальные признаки гангрены.

Бондарь всегда с улыбочкой, ямочки на щеках, румяный, чистенький, ему в детсаде работать, предложил взять на операционный стол немедленно, сделать ревизию раны, найти порезанный сосуд и перевязать. Пульников упёрся: начнём убирать гематому, удалим тромбы, будет кровопотеря, а консервированной крови нет. Пульникова понять можно, ему осталась неделя, а Ерохину — две недели, как в сказке, может, и хлеборез считал дни, и вот досчитался.

"Надо брать на стол, — решила Глухова — Я сама буду ассистировать. Филипп Филимонович, у вас ещё и старик во второй палате с ущемлённой грыжей. Вы уже совсем крылья опустили, поработайте каких-то несколько дней". — Хирург вяло махнул рукой, согласился, пошли в операционную. Зазирная, кстати говоря, заболела, лежит дома с высокой температурой, послали к ней за ключами, и Глухова велела мне готовить инструментарий и биксы со стерильным материалом.

Помыли руки, начали. Первым взяли на стол старика с грыжей. Глухова сама начала — и новокаин колола, и разрез сама сделала. Пульников ей подсказывал, я подавал инструменты, всё чётко, без паники. Глухова взбудоражена, довольна — сама оперирует, мычать стала мотивчик под маской, и только грыжевые ворота зашивал сам Пульников, ответственный момент. Закончили довольно быстро, подняли старика со стола, халат накиннули, и он мелкими шажками, держась руками за живот, сам вышел из операционной. Взяли на стол хлебореза. Сняли повязку, сняли скобки, Пульников пинцетом начал убирать гематому, отделил чёрный сгусток, и тут же хлестанула кровь, да так сильно, сразу красная россыпь на потолке. Ясно — артерия брахиалис.

"Зажим! Тампон! — хирург промокает, а кровь бьёт, он клацает зажимом, клацает, не может прихватить, и Глухова тычется, кое-как наложили тампонаду. Пульников полез дальше убирать гематому, и опять хлестануло. Я уже не тампоны сую хирургу, а салфетки стерильные, полотенце. — "Много крови! — неволью вырвалось у меня. — Будто из аорты хлещет". Ерохин застонал. Добавили новокаина. — "Ничего, бабы в гинекологии всю кровь теряют и за неделю восстанавливают, — сказал Пульников. — Заживёт как на собаке. — Он нашёл сосуд, крепко перехватил зажимом. — Ты меня слышишь, Ерохин? Эй, друг Ерохин, слышишь?" Он не отвечал, и нос уже заострился.

"Щеголихин, идите на моё место! А я встану за инструменты". — Глухова повернулась от операционного стола, тяжёлым бедром зацепила мой столик так, что зазвенело всё. Я быстро шагнул на её место с ощущением, что уже поздно, что-то уже стряслось и, пожалуй, непоправимое. А тут как раз открылась дверь операционной, и возник тот старик с грыжей, руки на животе. Христос воскрес. — "Доктор, а куда мне идти?" — он всё ещё был под действием пантопона, блукал по коридору, рад был, что жив остался, его в палате пугали вчера, что обязательно зарежут. — "На свободу иди, дед, прямиком!" — крикнул ему весёлый не по обстановке Пульников. Картина вышла нелепая, нехирургическая, вообще не медицинская. Неожиданно взвизгнула Глухова и зашлась в мелком хохоте, замахала руками, не могла себя удержать, у неё полились слёзы, истерика самая натуральная. Пульников заорал санитару, чтобы тот позвал кого-нибудь из персонала, быстро! Тот затопал по коридору, появилась Светлана Самойловна, в руке ватка с нашатырным спиртом, сразу дала начальнице стационара понюхать, потом к Ерохину, он не отвечал, пульса не было, зрачковый рефлекс отсутствовал. — "У него шок", — сказала Светлана Самойловна.

Ясно мне, от потери крови. Сделали адреналин, кофеин, подняли ему ноги кверху, туго обмотали резиновыми бинтами от пяток до ягодиц, чтобы улучшить кровоток к сердцу, камфору ввели, кордиамин — нет пульса. Лицо белое, глаза впали, видно, что уже всё, амба. Освободился.

Пульникову оставалось до свободы семь дней. Можно было не спать, не есть, не пить, и дожидаться. В отказчики пойти, в Шизо сесть, отлежаться на нарах, отсидеться на параше, — всё на свете можно было пережить, от любой неприятности, неожиданности увильнуть, сквозануть, — от любой, кроме той, что замаячила с момента смерти Ерохина на операционном столе, да ещё после такого пустякового ранения.

К вечеру стало известно, по Ерохину заведено дело в оперчас-